

На соискание Государственной премии СССР

Александра ПИСТУНОВА

# ЭНЕРГИЯ РОДСТВА

О прозе Анатолия Алексина

**Т**ОЧНО ЛИ мы помним, сколько нам лет? Каков истинный возраст старушки, сохраняющей девчачьи привычки? Солидного мужчины, тоскливо повязывающего галстук и с завистью вззирающего в окно на перемазанного мальчишку? Взрослой женщины, отлично знающей, что весной возле солнечной стены она перепрыгает в скакалочку или в классики своих «сверстниц»? А сколько лет вон тому послушному подростку, с тайной важностью несущему под мышкой толстую книгу мимо девочки, у которой нос в веснушках?

Анатолий Алексин отвечает каждому своему читателю на этот важнейший вопрос. Он справедливо утверждает: любому из нас столько лет, сколько было на том рубеже между детством и отрочеством, когда ты впервые осознал и понял себя личностью.

Нет, ты не стал, ты не станешь старше, хоть проживешь долгую жизнь, на лице твоём появятся морщины, что-то заболит, озаботит, устанут руки и тело... И все же: тебе столько лет, сколько было, когда сформировалась твоя личность. Вот отчего, наверное, повести Алексина, которые критика справедливо относит к ряду юношеской литературы, адресованы, в сущности, всем возрастам, всем книжным вкусам, всем уровням восприятия, самым разным социальным категориям читателей.

Перед нами всегда жизнь семьи, притом обычной интеллигентной русской семьи с ее особым укладом, домашними традициями, старыми вещами и фотографиями, с естественной близостью поколений, с живой памятью об ушедших — попросту присутствием их в другом времени, с житейскими нуждами, со смешными сюрпризами, с праздниками и болезнями, словом, с будничной чередой дней, где, однако, всегда есть игра или песня.

Скажем точнее — в сюжетах Алексина перед нами семьи скромных людей: бухгалтер, учитель, не проникший в науку врач, культработник, инженер, актер провинциального театра. Эти люди не совершают выдающихся подвигов или открытий. Может быть, и не зная, что формула их жизни дана гениальной строкой Пастернака, они исповедуют его принцип: «Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает высь...». В самом деле — высь поднимает иное: между бабушками и дедушками, папами и мамами, мальчишками и девчонками алексинских повестей существуют то великое нравственное равноправие, та ясная ясность, те непоказные участие и понимание, которые влекут нас в прозу Катаева, Каверина, Нилина, Нагибина, Евдокимова или в прекраснейшем стихотворении Ярослава Смелякова о «хорошей девочке Лиде».

Простые по видимости книги Анатолия Алексина «не написаны» — рассказаны особенным голосом. Но ведь повествование ведут там старая женщина или мужчина зрелых лет, мальчишки Миша Кутусов и Алик Деткин, сестра кларнетиста семиклассница Женька... Отчего же в часы чтения ты ощущаешь одно и то же звучание повествования, словно бы один и тот же авторский или свой истинный возраст? Мимходом-мимолетом, не педалируя, не утверждая — так поступает он всегда, — Алексин заметил сам «голос» своей прозы: тембр мандолины. Чудесный Виктор Макарович, руководитель самодеятельного детского хора в повести «Позавчера и послезавтра», говорит: «...Тембр мандолины, Мишенька, близок к детскому голосу. Особенно в среднем регистре». Потребно усилие, чтобы понять метафорическое значение этой фразы. Алексин-то приучил нас к автологии: он употребляет слова в их непосредственном, прямом значении, не любит иносказаний. Его прозе присущи четкий рисунок, прозрачная реалистическая простота. Если и отыщешь в его произведениях постоянный литературный прием, то это аллюзия — шутка, легкая

ирония, детское употребление взрослых клише. Но и аллюзия у Алексина редка, неназойлива.

Прочтя о среднем регистре нежного инструмента, на котором будет играть в Доме культуры Володька-Мандолина, и воспроизведя в слуховой памяти его альтерный серебряный звук, я раскрыла для себя суть литературного метода Алексина. Эта проза не живописна и не скульптурна, как у иных многословных и многосложных прозаиков. Она графична, линейна, как стихи. И строки ее обладают почти той же мерой емкости. Вот отчего то, что воспринимается автологией, хранит внутри себя бесчисленную вариантность символов, соединяющихся в конце концов в единственный, но, однако, типажный характер. Алексинский тембр мандолины, близкий детскому голосу, — точное воплощение литературной теории Аристотеля, утверждавшего, что «слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство».

Трудно петь под мандолину, звучащую в среднем регистре. Это подтвердит любой профессиональный исполнитель. Такова истина. Но — воспользуюсь методом Алексина — у этой истины есть и второй смысл: непозитивно читать эти «простые» повести, обращенные к твоему внутреннему подростковому «я», к твоей открытой душе, еще не взявшей искренность под подозрение; нелегко соответствовать во всем автору, который не только держится с нами на равных, но считает своих читателей исключительно порядочными, добросовестными людьми; не старается понравиться им роскошным словом, подладиться к ним; предполагает, что каждый имеет обо всем собственное мнение, и отмечает у любого читающего не недостатки, а только достоинство. У Алексина мы не отыщем привычных иной прозе приемов, сочетающих сказку с назиданием, экзальтацию — со слащавым жеманством, не знающую узды фантазию — с громкой фразой. Этот писатель считает своего читателя чуть выше душой, чуть умнее, чем он сегодня есть, и от этого любому из нас приходится быть лучше и умнее. Алексин «принимает» нас в любые игры. Мы — ловкие, смелые, веселые, добрые люди. Мы — не знающие сомнений подростки, каковы внутри себя в самом деле. И только в одну игру не играют ни его герои, ни его чи-

татели: в поддавки. «Это какая-то антиигра... Победа состоит в поражении... Стремиться к тому, чтоб тебя уничтожили? Не понимаю».

Замечали ли вы, что персонажи большого художника — так называемые отрицательные и так называемые положительные — всегда объединены некими общими свойствами, родовыми, что ли? Гайдаровская команда, клан симоновских героев, определенность черт жителей прозы Паустовского... Подобное родство есть и у нас: в произведениях Алексина, хоть это люди совсем разных судеб и поколений. Всех их — и снова я пользуюсь алексинским способом, да как и вернее размышлять о художнике — можно было бы соединить на одной огромной «классной» фотографии, как та, где отыскивает своего любимого ученика Ваню Белова, третьего в пятом ряду, учительница Вера Матвеевна. Здесь поместились бы и частные снимки — в оваллах-окошечках. Например, Коля, муж замечательной матери Валерика, на которого смотрит его вдова в ночь перед свадьбой сына, а для этого сына павший на войне отец — «только герой, как Чапаев или Котовский... Валерик не помнит отца отцом». Или мифический Гл. Бородаев, чьи фотографии висят в школе товарищ Алика Деткина, «внук писателя». Или крошно не близкие, но составляющие единое по фамилии и по бездушию семейство: Сергей Емельянов старший и приземный сын его бывшей жены Шурик, обнаруживший в себе «отцовский стержень» Емельяновский, хотя его истинный отец носит, вероятно, иное имя.

Близость друг другу «положительных» героев одной и той же прозы не диво. Но близость их же персонажам «отрицательным»? Вот такое может только искусство, которое не выносит «смертных» приговоров, которое осуждает скверные поступки, но всегда надеется, что хорошее осилит дурное и восторгается в человеке Алексин — и это в градации отечественной нашей литературы — составляет суждение о герое не по его падению, только по тем высам, которых — в это верим мы и мы, его читатели, — сумеет когда-нибудь достичь даже слабый и не очень хороший человек. Впрочем, надо внимательно сле-

дить за тканью его повествования и понимать, что слабость в системе алексинских нравственных пороков и ценностей может быть и силой... Вот отчего, исследуя одно лишь это свойство иных его героев, мы обнаруживаем общую для них «родовую память» о лучшем, их «возвратную наследственность», враждебную лицемерию, корысти, скверному расчету, лени, чванству, неблагодарности.

В надежде на лучшее в человеке, в юношеском пылу этой величайшей из надежд работает писатель. Он высказывает жизнь в ее целом — не с внешней стороны, а по существу, тонко рисует то, что лежит адалеке от частности, от случая и тем не менее составляет суть частности и случая, их душу. Мандолина в среднем регистре настаивает на абсолюте и вызывает жажду абсолюта у нас.

Странное свойство этой жажды: она будто бы романтична, в то время как писатель, ее рождающий, чуждается отвлеченных реальностей, хотя и не отождествляет действительность с обыденностью. Только забыв, что перед тобой шрифтовая стена прозаической страницы, перепахнув ее одноцветностью, незаметно для себя повернув золотой ключик и оказавшись в горде, засыпанном снегом, на осенней дачной платформе, в темной комнате, где одинокая женщина вспоминает свою чистую жизнь, — ты в состоянии определить истинное свойство этой жажды абсолюта. Она не романтична. Она реалистически конкретна: ее вызвала поэзия, хоть и не облеченная стихотворной формой. Родник поэзии в сердце, а не в уме, в твоей читательской возможности летать, а вовсе не в метрике. Таково зерно вновь открытой во время чтения Алексина устойчивой и вечной литературной истины.

Рассуждая вслух о поэтической прозе Анатолия Георгиевича Алексина, чьи повести «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» представлены на соискание Государственной премии СССР 1978 года, я стараюсь дополнить кратчайшью из биографий, которая заключает недавно вышедший в издательстве «Молодая гвардия» однотомник. Наверное, Алексин прав, что считает возможным поведать о себе читателю столь мало: родился в Москве, в семье старого большевика, работал на строительстве завода-гиганта, закончил институт и в том же году вышла первая книга. Ведь жизнь писателя — не только череда фактов и лет. Раскрытие его духовной природы происходит в творчестве. Один на один с листом бумаги — а это именно и есть в гуще событий. Один перед совестью, перед сердцем, перед глазами читателя.

Как говорить о нем самом? Писатель настаивает на особом лексиконе, не позволяет патетики, гребует скромной истины. «Веление» — яркое слово, оно гораздо красивее, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков». Ярких слов совсем мало в его повестях, а если и найдешь особенные, то они слагаются в афоризм. Однокурсный «папа Кузя», редактор тыловой многотиражки, герой недавней повести, опубликованной в журнале «Юность», замечает: «Радость может быть безграничной. Я — за это! Но беда... Чтобы ее можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства...».

Энергия родства — формула душевного катехизиса — два слова, которые осветили друг друга и ярко засияли. Наверное, здесь главный смысл писательской и человеческой сути Алексина.

С каким чувством расстаешься с этой прозой? С каким чувством начинаешь неполную последнюю страницу? Печальное веселье, гихое тепло задумчивого мальчишеского алта вызвали в тебе ощущение счастья и веры в жизнь.

«Разве это не чудо?» — спрашивает вот о таком взрослый мальчик у старой актрисы в рассказе, посвященном Валентине Сперантовой. В самом деле — разве не чудо искусство, которое делает нас счастливей?



В. НАГАЕВ. Из иллюстраций к книге А. Алексина «Встретимся завтра». Издательство «Молодая гвардия».